

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ. 1876. АПРЕЛЬ

Глава первая

<...>

III. СБИВЧИВОСТЬ И НЕТОЧНОСТЬ СПОРНЫХ ПУНКТОВ

Нам прямо объявляют, что у народа нет вовсе никакой правды, а правда лишь в культуре и сохраняется верхним слоем культурных людей. Чтоб быть добросовестным вполне, я эту дорогую европейскую нашу культуру приму в самом высшем ее смысле, а не в смысле лишь карет и лакеев, именно в том смысле, что мы, сравнительно с народом, развились духовно и нравственно, очеловечились, огуманились и что тем самым, к чести нашей, совсем уже отличаемся от народа. Сделав такое беспристрастное заявление, я уже прямо поставлю перед собой вопрос: «Точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И, наконец, что именно мы принесли с собой из Европы народу?»

Но прежде, чем отвечать на такой вопрос, для порядку, устраним всякую речь, например, о науке, промышленности и проч., чем Европа справедливо может гордиться перед нашим отечеством. Такое устранение будет совершенно правильным, ибо вовсе не об том идет *теперь* дело; тем более, что и наука-то эта там в Европе, а мы-то сами, то есть верхние слои культурных людей в России, еще не очень блистаем наукой, несмотря на двухсотлетнюю школу, и что поклоняться нам, культурному слою, за науку во всяком случае еще рано. Так что наука вовсе не составляет какого-нибудь существенного и непримиримого различия между обоими классами русских людей, то есть между простонародьем и верхним культурным слоем, и выставлять науку как главное существенное различие наше от народа, повторяю, совсем неверно и было бы ошибкою, а различие надо искать совсем в другом. К тому же наука есть дело всеобщее, и не один какой-нибудь народ в Европе изобрел ее, а все народы, начиная с древнего мира, и это дело преемственное. С своей стороны русский народ никогда и не был врагом науки, мало того, она уже проникала к нам еще и до Петра. Царь Иван Васильевич употреблял все усилия, чтоб завоевать Балтийское побережье, лет сто тридцать раньше Петра. Если б завоевал его и завладел его гаванями и портами, то неминуемо стал бы строить свои корабли, как и Петр, а так как без науки их нельзя строить, то явилась бы неминуемо наука из Европы, как и при Петре. Наши Потугины бесчестят народ наш насмешками, что русские изобрели один самовар, но вряд ли европейцы примкнули к хору Потугиных. Слишком ясно и понятно, что всё делается по известным законам природы и истории и что не скудоумие, не низость способностей русского народа и не позорная лень причиною того, что мы так мало произвели в науке и в промышленности. Такое-то дерево вырастает в столько-то лет, а другое вдвое позже его. Тут всё зависит от того, как был поставлен народ природой, обстоятельствами и что ему прежде

всего надо было сделать. Тут причины географические, этнографические, политические, тысячи причин, и всё ясных и точных. Никто из здравых умом не станет укорять и стыдить тринадцатилетнего за то, что ему не двадцать пять лет. «Европа, дескать, деятельнее и остроумнее пассивных русских, оттого и изобрела науку, а они нет». Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, проявляли не менее изумляющую деятельность: они создавали царство и *сознательно* создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу. Русские колонизировали дальнейшие края своей бесконечной родины, русские отстаивали и укрепляли за собою свои окраины, да так укрепляли, как теперь мы, культурные люди, и не укрепим, а, напротив, пожалуй, еще их расшатает. К концу концов, после тысячи лет — у нас явилось царство и политическое единство беспримерное еще в мире, до того, что Англия и Соединенные Штаты, единственные теперь оставшиеся два государства, в которых политическое единство крепко и своеобразно, может быть, в этом нам далеко уступят. Ну, а взамен того в Европе, при других обстоятельствах политических и географических, возросла наука. Но зато, вместе с ростом и с укреплением ее, расшаталось нравственное и политическое состояние Европы почти повсеместно. Стало быть, у всякого свое, и еще неизвестно, кому придется завидовать. Мы-то науку во всяком случае приобретем, ну а неизвестно еще, что станет с политическим единством Европы? Может быть, немцы, всего еще лет пятнадцать тому назад, согласились бы променять половину своей научной славы на такую силу политического единства, которая была у нас уже очень давно. И немцы теперь достигли крепкого политического единства, по крайней мере по своим понятиям, но тогда у них еще не было Германской империи, и, уж конечно, они нам завидовали про себя, несмотря на всё их презрение к нам. Итак, не об науке и не о промышленности надо поставить вопрос, а собственно о том, чем мы, культурные люди, возвратясь из Европы, стали *нравственно, существенно* выше народа и какую такую недостижимую драгоценность принесли мы ему в форме нашей европейской культуры? Почему мы люди *чистые*, а народ всё еще человек черный, почему мы всё, а народ ничего? Я утверждаю, что в этом между нами, культурными людьми, чрезвычайная неясность и что мало кто из «культурных» на это ответит правильно. Напротив, тут — кто в лес, кто по дрова, а насмешки над тем, зачем сосна не выросла в семь лет, а требует всемеро больше для росту лет, — еще до того обыденны и обыкновенны, что не редкость их услышать даже и не от одних Потугиных, а и от людей гораздо повыше их по развитию. О г-не Авсеенко уж и не упоминаю. А затем прямо обращаюсь к вопросу, поставленному вверху главы: точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И если мы и несем что с собой, то что именно? На это прямо отвечаю, что мы гораздо хуже народа, и почти во всех отношениях.

Нам говорят, что в народе чуть деятель, то тотчас кулак и мошенник. (Это не один г-н Авсеенко утверждает, да и вообще г-н Авсеенко никогда и ничего не скажет нового). Во-первых, это неправда, а во-вторых, разве между культурными Русскими не такие же кулаки и мошенники поминутно? Да чуть ли не больше еще, и это тем стыднее, потому что они окультурены, а народ нет. Но главное в том, что вовсе нельзя сказать про народ, что чуть в нем объявится деятель, то в

большинстве выйдет кулак и мошенник. Не знаю, где выросли утверждающие это, я же с детства и во всю жизнь мою видел совсем другое. Мне было всего еще девять лет от роду, как, помню, однажды, на третий день светлого праздника, вечером, часу в шестом, всё наше семейство, отец и мать, братья и сестры, сидели за круглым столом, за семейным чаем, а разговор шел как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг вместо «управляющего», всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и в лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова.

— Что это? — крикнул отец в испуге — Посмотрите, что это?

— Вотчина сгорела-с! — пробасил Григорий Васильев. Описывать не стану, что за тем последовало, отец и мать были люди не богатые и трудящиеся — вот такой подарок к светлому дню! Оказалось, что всё сгорело, всё дотла: и избы, и амбар, и скотный двор, и даже яровые семена, часть скота и один мужик, Архип. С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мешанок. Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, — «на старость пригодится» — и вот она вдруг шепчет маме:

— Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо...

Денег у ней не взяли, обошлись и без того. Но вот вопрос: к какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая, и умершая в богадельне, где ей очень ее деньги понадобились. Ведь, я думаю, таких нельзя сопричислить к кулакам и мошенникам, а если нельзя, то как определить ее поступок: явилась ли она с ним лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни», — или проявила что-нибудь познергичнее пассивности? Очень любопытно бы послушать, как разрешил бы это г-н Авсеенко. Мне с презрением ответят, что это единичный случай; но я и один успел вот заметить в жизни моей таких случаев многие сотни в нашем простонародье, а между тем я твердо знаю, что есть и другие наблюдатели, тоже умеющие смотреть на народ без плевка. Не помните ли вы, как в «Семейной хронике» Аксакова мать умолила в слезах мужиков перевести ее через широкую Волгу в Казань, к больному ребенку, по тонкому льду, весною, когда уже несколько дней никто не решался ступить на лед, взломавшийся и прошедший всего только несколько часов спустя по переходе. Помните ли вы прелестное описание этого перехода, и как потом, когда перешли, мужики и денег брать не хотели, понимая, что сделали всё из-за слез матери и для Христа Бога нашего. Происходило же это в самое темное время крепостного права! Что же, всё это единичные факты? А если и похвальные, — то лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни»? Да так ли? Единичные ли, случайные ли это только факты? Деятельный риск собственною

жизнию из сострадания к горю матери — можно ли считать лишь пассивностью? Не из правды ли, напротив, народной, не *из милосердия ли и всепрощения и широкости взгляда народного* произошло это, да еще в самое варварское время крепостного права? Да народ и веры не знает, скажете вы, он и молитвы не умеет прочесть, он поклоняется доске и лепечет какой-то вздор про святую пятницу и про Фрола и Лавра. На это отвечу вам, что вот эти-то мысли и явились у вас из продолжающегося презрения вашего к русскому народу и упорно сохраняющемуся в русском культурном типе. Мы о вере народа и о православии его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятнице. Если б г-н Авсеенко действительно понимал то, что он написал о вере народной, спасшей Россию, а не выписал бы у славянофилов, то не оскорбил бы народа тут же сейчас, обозвав его чуть не сплошь «кулаком и мироедом». Но в том и дело, что эти люди ровно ничего не понимают в православии, а потому ровно ничего не поймут никогда и в народе нашем. Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, — потому что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится. Поверьте, что в этом смысле даже самые темные слои народа нашего образованнее гораздо больше, чем вы в культурном вашем неведении об них предполагаете, а может быть, даже образованнее и вас самих, хоть вы и учились катехизису (22; 110 – 114).

Примечания

(22; 378)

Мне было всего ещё девять лет ~ обошлись и без того. – Достоевский относит это событие к 1831 г., а его брат – к 1833 г. (Достоевский, А. М., стр. 59 – 60. В действительности имение было куплено летом 1831 г., а пожар случился весной 1831 г. (В. С. Нечаева. В семье и усадьбе Достоевских. М., 1939, стр. 39 – 40). Этим происшествием навеян в «Идиоте» эпизод из детства Настасьи Филипповны (наст. изд., т. VIII, стр. 35; т. IX, стр. 431).

И вдруг подходит к ней наша няня, Алёна Фроловна... – Примечание А. Г. Достоевской: «О своей няне Алёне Фроловне часто любил вспоминать Фёдор Михайлович с благодарным чувством и рассказывал о ней своим детям» (*Гроссман, Семинарий*, стр. 64). В «Бесах» Алёной Фроловной зовут няню Лизы Тушиной (наст. изд., т. X, стр. 87; т. XII, стр. 292).